

С. А. Ипатова

## «МУРАВЕЙНИК» В СОЦИАЛЬНОЙ ПРОГНОСТИКЕ ПЛАТОНОВА И ДОСТОЕВСКОГО\*

Если социальная футурология Достоевского достаточно ясна, то социальные проекции Платонова, внимательного читателя Достоевского, не всегда поддаются непосредственному осмыслению, поэтому концептуализация историко-литературного контекста творчества Платонова, относящегося к литературе XIX в., может оказаться продуктивной.

Относительно редкие высказывания Платонова о Достоевском, рассеянные в его публицистике, содержат полемическое осмысление им социальной прогностики писателя, который, как полагал Платонов, «не мог предугадать главного и решающего — пролетарской революции и коммунизма; а то что Достоевский понимал под именем социализма, на самом деле не имеет с ним ничего общего». Писатель «показал разложение душ „бедных людей” под влиянием истощающего насилия „господ” всех рангов; он пытался доказать, что дело с человеческой жизнью на земле не получится: если она и была когда-то, при Иисусе Христе, то теперь пришел в мир Инквизитор, и его не выживет отсюда никто {...} здесь глубокое предчувствие Достоевским фашизма».<sup>1</sup> Упреки писателю звучат и в другой статье Платонова:

...особенно далеко отошел от Пушкина и впал в мучительное заблуждение Достоевский; он предельно надавил на жалобность, на фатальное несчастье, тщетность, бессилие человека, на мышиную возню всего человечества, на страдание всякого разума.

Какой можно сделать вывод из некоторых, главнейших работ Достоевского? Вывод такой, что человек — это ничтожество, урод, дурак,

\* Часть статьи прозвучала в качестве доклада на конгрессе по Достоевскому в Женеве, опубликованные тезисы см.: *Ipatova S. A. «Муравейник» в социальной прогностике Достоевского и А. Платонова // XII Symposium International Dostoïevski. 1—5 sept. 2004 (Abstracts). Geneve, 2004. P. 154—156.*

<sup>1</sup> *Платонов А. Пушкин и Горький (1937) // Платонов А. Собр. соч.: В 3 т. М., 1985. Т. 2. С. 310.*

тшетное, лживое, преступное существо, губящее природу и себя. А дальше что, если судить по Достоевскому?

А дальше, — так бей же, уничтожай этого смешного негодяя, опоганившего землю! Человек же ничто, это «существо несуществующее»! Нам кажется, Пушкин бы ужаснулся конечному результату кое-каких сочинений своих последователей, продолжателей дела русской литературы.<sup>2</sup>

Насколько обоснованы эти публицистические высказывания, произнесенные в 1937 г. по поводу «архискверного» Достоевского (Ленин), в разгар и в русле борьбы с писателем, точно и детально предсказавшего в «Бесах» черты русской революции и потому за излишнюю актуальность изъятого из читательского обихода как «буржуазного»,<sup>3</sup> судить трудно, как и ответить на вопрос, осознавал ли Платонов наступившую актуальность художественного открытия «бесовщины». Художественное творчество самого Платонова свидетельствует о заинтересованном чтении и глубинном толковании Достоевского, а также об устойчивом «присутствии» мыслей и образов писателя в платоновских текстах, особенно когда речь идет о конструировании собственной социальной прогностики.<sup>4</sup> Очевидно одно — отношение Платонова к Достоевскому многопланово и неоднородно. Явственно это обнаруживается в «Чевенгуре», где имя Достоевского, хотя и в комическом контексте, вводится прямо в текст.

Одним из концептов, по которому сталкиваются их социальные представления, является концепт «муравейника». В истории мировой культуры существуют семантические расслоения внутри «муравьиной» философии, где провозглашаются как биологические, так и социальные коннотации. При этом вектор мыслительного движения направлен от биологических, которые редуцируются, к социальным, которые актуализируются в различные исторические эпохи.

В самом движении топосов «муравья» и «муравейника» в русской литературе XIX в. прослеживается семантическая раз-

<sup>2</sup> Платонов А. Пушкин — наш товарищ (1937) // Там же. С. 298—299.

<sup>3</sup> Приведу, к примеру, высказывание Л. Троцкого 1923 г.: «Уже в благочестивых и покорных фигурах Достоевского была фальшь, и чувствовалось, что они чужды автору и сделаны им как антитеза — в значительной мере по отношению к себе самому, ибо Достоевский был страстным и злобным во всем, в том числе и в вероломном своем христианстве» (Троцкий Л. Литературные попутчики революции // Троцкий Л. Литература и революция (1923). М., 1991. С. 95; см. также с. 175.

<sup>4</sup> В связи с этим платоновская детская тема демонстрирует прямую зависимость от концепции Достоевского. См.: Ипатова С. А. «Крохотное создательница» у Достоевского и Платонова, или Прием «ложной этической оценки» // «Педагогія» Ф. М. Достоевского: Сб. статей. Коломна, 2003. С. 92—100.

ноголосица. Их функционирование установилось по двум диаметрально противоположным направлениям, обнаружив следующие полярные корреляции:

коллективизм — социальный инстинкт, анонимная массовость;

самопожертвование — бездушная рациональность;

братство — субординация, кастовость, тоталитарность;

дисциплинированность — машинальность, абсолютное повинование;

согласная работоспособность — рабочий инстинкт, и т. д.

Социальные инстинкты муравьев представлялись более мудрыми, нежели у *homo sapiens*. Исходя из этого, «муравьиное» братство расценивалось в русской и зарубежной литературе XIX—XX вв. как символ утопии (природное воплощение «земного рая»). Вместе с тем не замечалось, что «муравьиный» инстинкт легко может замениться бездумной стадностью и рабским подчинением (к примеру, шигалевщина), и на этом основании «муравьиное братство» становится символом также и антиутопии (образец тоталитарной «кучи-государства»).

Социальная футурология Платонова, трагической фигуры советской литературы, имплицитна, но отчетливо демонстрирует свою зависимость от художественных поисков русской литературы XIX в., обнаруживая — в плане повествовательной стратегии — сложный конгломерат своего и чужого слова.

В указанном аспекте необходим сопоставительный анализ произведений Платонова, где репрезентируется топос «муравейника» («Чевенгур», 1927—1928; «Среди животных и растений», 1936; «О „ликвидации человечества” (По поводу романа К. Чапека «Война с саламандрами»)), 1938; рецензия на повесть М. М. Пришвина «Неодетая весна», 1940, и др.), и художественных и публицистических произведений Достоевского, в которых «муравьиная» тема, одна из константных в его творчестве, использована исключительно в применении к «идеальному» обществу социалистов неизменно с отрицательной коннотацией («Опять „Молодое перо”», 1863; «Зимние заметки о летних впечатлениях», 1864; «Господин Щедрин, или Раскол в нигилистах», 1864; «Записки из подполья», 1864; «Преступление и наказание», 1866; «Бесы», 1871; «Дневник писателя»; «Записные тетради», 1865 и 1875—1876; «Братья Карамазовы», 1881, и др.).

В самое начало романа «Чевенгур» введен текст: «...далеко человеку до умельца-муравья». Если предположить, что этот фрагмент — цитата, имеющая своим истоком «Зимние заметки о летних впечатлениях» Достоевского, то приведенный текст выполняет одну из ключевых семантических функций «Чевенгура» и является смыслонесущим элементом его дискурса. Интертекстуальные связи платоновского отрывка прослежены в

основательных комментариях к роману, где, однако, эта цитата не атрибутирована.<sup>5</sup>

Приведу контекст цитаты, никак не маркированной Достоевскому: Захар Павлович «видел на почве уютные леса, где трава была деревьями: целый маленький жилой мир со своими дорогами, своим теплом и полным оборудованием для ежедневных нужд мелких озабоченных тварей. (...) „Дать бы нам муравьиный или комариный разум — враз бы можно жизнь безбедно наладить: эта мелочь — великие мастера дружной жизни; *далеко человеку до умельца-муравья*” (курсив мой. — С. И.)».<sup>6</sup>

В «муравейниках» социалистов, иронически описанных Достоевским в «Зимних заметках...», за земные блага потребуют с человека «только самую капельку его личной свободы» — бессловесность и подчиненность, разумеется, для «общего блага». «Нет, не хочет жить человек и на этих расчетах, ему и капелька тяжела. Ему все кажется сдуру, что это острог и что самому по себе лучше, потому — полная воля. (...) Разумеется, социалисту приходится плюнуть и сказать ему, что он дурак, не дорос, что муравей какой-нибудь бессловесный, ничтожный муравей, его умнее, потому что в муравейнике всё так хорошо, всё так разлиновано, все сыты, счастливы, каждый знает свое дело, одним словом: *далеко еще человеку до муравейника!* (курсив мой. — С. И.)».<sup>7</sup> С гигантским «муравейником» сравнивает Достоевский «кристальный дворец», увиденный им на Всемирной лондонской выставке и описанный как окончательное устройство и полное торжество Ваала: «...хоть как-нибудь составить общину и устроиться в одном муравейнике (...) кристальный дворец, всемирная выставка... (...) Вы чувствуете страшную силу, которая соединила тут всех этих бесчисленных людей, пришедших со всего мира, в едино стадо; (...) вы чувствуете, что тут что-то уже достигнуто. (...) Уж не это ли, в самом деле, достигнутый идеал? (...) Вы смотрите на эти сотни тысяч, на эти миллионы людей, покорно (...) толпящихся в этом колоссальном дворце, и вы чувствуете (...) это какая-то библейская картина, что-то о Вавилоне, какое-то пророчество из Апокалипсиса» (5, 69—70). Тем же «муравейником», устроенным по лондонской модели, социалистическим «чугунно-хрустальным дворцом Чернышевского, предстает «хрустальный дворец», населенный «органными штифтиками» в

<sup>5</sup> См.: Яблоков Е. На берегу неба: (Роман Андрея Платонова «Чевенгур»). СПб., 2001. С. 74—77.

<sup>6</sup> Платонов А. Чевенгур. М., 1981. С. 33. Далее ссылки на это издание даются в тексте статьи с указанием страницы.

<sup>7</sup> Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч.: В 30 т. Л., 1973. Т. 5. С. 81. Далее ссылки на это издание даются в тексте статьи с указанием тома и страницы.

«Записках из подполья». Зданием «навечно нерушимым» называет подпольный парадоксалист и «муравейник», и «хрустальный дворец», так как само их устройство грозит человеку потерей свободного хотения, будь то просто каприз или желание пострадать (см.: 5, 118, 120).

В статье «Опять „Молодое перо”» Достоевский называет революционно-демократическую прессу, и в частности редакцию «Современника», развороченным «муравейником», в котором «копшатся» «трудолюбивые муравьи», т. е. «прогрессисты», «волочащие великую идею по улице» (20, 94—95). Карикатурный герой, носитель революционно-демократической идеологии из памфлета «Господин Щедрин, или Раскол в нигилистах», восклицает: «...брюхо — это всё. (...) Муравьи, ничтожные муравьи, соединясь для самосохранения, то есть для брюха, к стыду людей, умели изобрести муравейник, то есть самый высочайший идеал социального устройства. (...) Напротив, что сделали люди? Девять десятых людей на всем земном шаре постоянно ходят не сытые! (...) Оттого, что люди глупы (...) живут сами по себе наобум, по своей воле, а не по умным книжкам и, таким образом, бедны, разъединены и не умеют ничего предпринять» (20, 110).

За полгода до смерти писатель вновь вернется к этому образу в «Дневнике писателя» за 1880 г.: «Муравейник, давно уже созидавшийся» в Европе «без церкви и без Христа», «с расшатанным до основания нравственным началом, утратившим всё, всё общее и всё абсолютное, — этот созидавшийся муравейник, говорю я, весь подкопан (...) всё это рухнет в один миг и бесследно» (26, 167—168).

Идея «муравейника» как идеального устройства человеческого общества имеет давнюю литературную традицию, начиная с Платона, объяснявшего кастовое деление людей на примере муравейника, Плиния, похвально отзывавшегося о республиканских достоинствах муравьев, правда в пределах одного сословия, Г. Э. Лессинга, Ч. Дарвина, Ж. Мишле, чья книга о насекомых, и в частности о муравьях, в русском переводе была весьма популярна в начале 1860-х гг., и др. Обратимся к упоминаемому Достоевским по другим поводам французскому историку Мишле: «Общества существуют только у людей и у насекомых. (...) Самое высокое произведение на земном шаре, самая высокая цель, к которой стремятся его обитатели, без сомнения, — общество; и, без сомнения, насекомое достигло этой цели. Никакое другое животное, кроме человека, не достигло его».<sup>8</sup> Конечно, эта метафора могла быть почерпнута Достоевским из других источников, среди которых

<sup>8</sup> Мишле Ж. Царство насекомых: Общепонятное чтение для всех сословий и возрастов. СПб., 1863. С. 239 (Гл. «Муравьи» — С. 162—192).

в первую очередь следует назвать «Микромегас» Вольтера, где «муравейником» названо все человеческое общество; «Систему логики» Дж. Стюарта Милля, которая в пересказе И. Тэна публиковалась в журнале братьев Достоевских «Время» (1861).<sup>9</sup> Наконец, в этом кругу мог быть и обширный очерк Чернышевского «Лессинг, его время, его жизнь и деятельность» (1856), который, вне сомнения, располагал теми же источниками, что и Достоевский.

Прецедентный для Платонова текст из Достоевского по одной детали (муравьиный топос) становится фактом свертывания дискурса «Чевенгура». Накопленный этой цитатой опыт повествовательно разворачивается перед читателем, обнаруживая присутствие иных культурных кодов и семантическую многоплановость; таким образом, цитату из Достоевского следует расценивать как один из ключей к прочтению «Чевенгура». Эта «подсказка» позволяет читателю реконструировать цепь вложенных и заключенных в ней преемственных текстов. Процесс этот является обратным процессу редуцирования дискурса.

Мы вправе предположить, что для Платонова предметом концептуального осмысления становится не только цитата из Достоевского, но и неизбежно объективируемая ею известная полемика писателя прежде всего с Чернышевским о возможности построения идеального человеческого общества на «разумном основании».

Цитата закономерно должна была извлечь и конкретные рассуждения из второго диалога сочинения Лессинга «Эрнст и Фальк. Разговоры для масонов» («Ernst und Falk. Gespräche für Freimaurer», 1778—1780), приведенного Чернышевским в его работе «Лессинг, его время, его жизнь и деятельность», где муравейник представляется идеальной общностью, в которой каждый занят полезной деятельностью, «тащит, пристраивает что-нибудь», при этом муравьи не только не мешают друг другу, но даже помогают, и на этом основании муравейник противопоставляется человеческому обществу.

Косвенно в пользу того, что Достоевский в следующих своих рассуждениях о «муравейнике» социалистов отталкивался именно от этой работы Чернышевского, говорит цитата из «Записной тетради» 1875—1876 гг., где муравейник упоминается

---

<sup>9</sup> «Если бы муравей мог делать наблюдения, он дошел бы до идеи физического закона, живой формы, представительного ощущения, отвлеченной мысли, потому что все это заключается в клочке земли, на котором помещается мыслящее существо. (...) Если бы муравей мог рассуждать, то мог бы построить арифметику, алгебру, геометрию, механику, потому что движение на протяжении полувершка уже содержит в ракурсе время, пространство, число и силу, все материалы для математики. (...) Если бы муравей философствовал, он мог бы найти идею бытия, ничто и вообще все материалы метафизики, потому что их представляет всякое явление внешнее или внутреннее» (Время. 1861. № 6. С. 389—390).

им в связи с масонами: «Где примирение. Было в вере, но вера утрачена, в чем же, где этот муравейник? Не у масонов ли? Право, мне мерещилось всегда, что у них какая-то тайна, адово разумение, тайна муравья. Но такая тайна равносильна обращению человека в муравья, коли дан разум. Да и человек не захочет муравьиного гнезда. Предположится наукой найденный муравейник. Потребуется лишения, условия, ограничения личности. (...) Я хочу не такого общества научного, где бы я не мог делать зла, а такого именно, чтоб я мог делать всякое зло, но не хотел его делать сам» (24, 162).

Эрнст и Фальк разглядывают муравейник и рассуждают о проблемах борьбы за власть и руководство масонскими ложами:

Э(эрнст). Жизнь и хлопоты в этом муравейнике. Какая деятельность и какой порядок! (...)

Ф(альк). Муравьи живут обществом, как пчелы.

Э(эрнст). И общество их еще удивительнее, нежели улей. Потому что у них нет никакого общего управления.

Ф(альк). Стало быть, порядок может быть и без управления?

Э(эрнст). Конечно, если каждый умеет управлять самим собою.

Ф(альк). Будет ли так когда-нибудь с людьми?

Э(эрнст). Едва ли!

Ф(альк). Жаль.

Э(эрнст). Разумеется, жаль».<sup>10</sup>

Тема масонства, как пишет Р. Ю. Данилевский, «не очень, по-видимому, занимала Чернышевского. В диалоге Лессинга он уловил более широкое социальное содержание», здесь «идеальное человеческое общество было уподоблено муравейнику, — разумеется, не реальному сообществу насекомых, а как символу целесообразно организованной коллективной жизни». Эрнст усомнился в возможности взаимопонимания между людьми, а тем более в том, что возможно создать равноправие в отдельно взятой стране или в человеческом обществе в целом. Чернышевский, как подметил Данилевский, отнесся к муравьиной метафоре «серьезнее», не уловив «иронию подлинника». Картина муравейника, по мысли революционного демократа, русифицирующего мысль Лессинга, «должна была ассоциироваться у читателей с картиной идеального человеческого общества».<sup>11</sup> Нельзя не сказать об одной особенности русского отношения к религиозным взглядам Лессинга, который, несомненно, был религиозным вольнодумцем; однако русская революционная мысль старалась сделать его более радикальным, — едва ли не

<sup>10</sup> Чернышевский Н. Г. Лессинг, его время, его жизнь и деятельность (1856) // Чернышевский Н. Г. Полн. собр. соч.: В 15 т. М., 1948. Т. 4. С. 210.

<sup>11</sup> Данилевский Р. Ю. Г. Э. Лессинг и Россия: Из истории русско-европейской культурной общности. СПб., 2006. С. 81, 83. См. также: Фридендер Г. М. Лессинг: Очерк творчества. М., 1957. С. 201—206.

атеистом. Взгляды Лессинга на религию наиболее отчетливо выражены в его философско-историческом сочинении «Воспитание человеческого рода» (1777—1780), где он утверждает, что высшей ступенью развития человечества явится ступень, «на которой люди будут любить добро во имя самого добра. Когда человечество поднимется на эту ступень, его не надо будет пугать сказками об адских мучениях и соблазнять мечтой о райском блаженстве {...} на этой высшей ступени общественного развития потребность человечества в религии отпадет так же, как и потребность во всяком другом внешнем побуждении».<sup>12</sup> Эта мысль Лессинга созвучна взглядам скорее Достоевского, нежели его оппонента.

Художественная реализация этой «муравьиной», адаптированной к русским нуждам философии была представлена Чернышевским в четвертом сне Веры Павловны в романе «Что делать?» (1863), где повествуется о будущем «всемирном братстве» людей, проживающих в хрустально-чугунных дворцах с белыми колоннами (реальным прототипом которых было здание Всемирной лондонской выставки) как олицетворении воплощенного идеала, гармонического царства будущего. «Громадное здание» стоит среди «изобильных нив»; люди весело убирают хлеб и поют, а здание — «чугун и стекло, чугун и стекло. {...} Но кто же живет в этом доме, который великолепнее дворцов? „Здесь живет много, очень много {...} везде мужчины и женщины, старики, молодые и дети вместе”», — отвечает «невеста своих женихов».<sup>13</sup>

Основным аспектом полемики Достоевского с Чернышевским, очевидно, известной Платонову, была тема утраты нравственности в братстве «хрустального дворца», «устрашающего окончательного устройства» общества наподобие «гигантского муравейника» (5, 69—70), исключая братскую любовь и в целом метафизический регистр. «Великое дело любви и настоящего просвещения. Вот моя утопия!» (24, 195) — таково нравственное credo Достоевского. Он полагал, что нельзя уговорить человека на братство, завлекая его выгодой сытой разливной жизни, полученной в обмен на свободу. Идеал писателя — «русский социализм» как «всемирная и вселенская церковь» (27, 19). Устами Зосимы Достоевский говорит: «Были бы братья, будет и братство» (15, 243, 248). «Раньше, чем не сделаешься в самом деле всякому братом, не наступит братства», — говорит Зосиме Таинственный посетитель (14, 275). Однако эти экзотические предощущения мировой гармонии не

<sup>12</sup> Фридендер Г. М. Лессинг: Очерк творчества. С. 195.

<sup>13</sup> Чернышевский Н. Г. Что делать? Из рассказов о новых людях // Чернышевский Н. Г. Полн. собр. соч.: В 15 т. М., 1939. С. 277—278. Подробнее об утопии в романе см.: Геллер Л., Нике М. Утопия в России. СПб., 2003. С. 131—136.

давали конкретных рекомендаций, как организовать государственное устройство (и экономически, и нравственно), при котором, как говорит Смешной человек, «люди могут быть прекрасны и счастливы, не потеряв способности жить на земле», «главное люби других, как себя, вот что главное, и это всё, больше ровно ничего не надо: тотчас найдешь, как устроиться» (25, 119).

По мнению В. В. Розанова, при чтении сочинений Достоевского необходимо постоянно помнить «три формулы», «три образных выражения идеи всемирного соединения людей и их успокоения»; это — «Курятник», «Хрустальный дворец» и «Муравейник». Эти три модуса человеческой жизни, «зданий судьбы человеческой» развернуто обсуждаются у Достоевского в «Записках из подполья». «„Курятник“, — пишет Розанов, — это бедная и неудобная действительность, которая, однако, предпочтительнее всего другого, потому что она хрупка, всегда может быть разрушена и изменена и, следовательно, не отвечает второстепенным требованиям человеческой природы, отвечает главной и самой существенной ее особенности — свободной воле, прихотливому желанию, которое не погашается в индивидууме. „Хрустальный дворец“ — это искусственное, возведенное на началах разума и искусства здание человеческой жизни, которое хуже всякой действительности, потому что, удовлетворяя всем человеческим нуждам и потребностям, не отвечает одной и главной — потребности индивидуального, особенного желания; оно подавляет личность». В «Записках из подполья», утверждает Розанов, отвергается вторая формула («Хрустальный дворец») и оставляется первая («Курятник»), так как нет для человека третьей — «Муравейника».

Что имеет в виду Достоевский, задается вопросом Розанов, под этим модусом человеческой жизни? «Под этим названием разумеется всеобщее и согласное соединение живых существ какого-либо вида, основанное на присутствии в них одного общего и безошибочного инстинкта построения общего жилища. Таким инстинктом наделены все живущие общества животные (муравьи), но его лишен человек; поэтому, в то время, когда они строят всегда одинаково, повсюду одно и постоянно мирно, человек строит повсюду различное, вечно трансформируется в своих желаниях и понятиях; и едва приступит к построению всеобщего — разойдется в представителях своих, единичных личностях, и притом со смертельною враждою и ненавистью. Эти три формулы необходимо постоянно помнить при чтении сочинений Достоевского».<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Розанов В. В. О легенде «Великий Инквизитор» // Розанов В. В. Легенда о Великом инквизиторе Ф. М. Достоевского. М., 1996. С. 87—88, 120—121.

Метафора «муравейника» на протяжении всего творчества Достоевского претерпевала изменения, наполняясь конкретными смыслами, однако неизменно ассоциировалась с социалистическим (коммунистическим) устройством общества как тоталитарная модель социума. В «Записной тетради» 1865 г. (конспект неосуществленной статьи «Социализм и христианство») говорится: «...будущее основание и норму социального муравейника социализм полагает в цели — в сытом брюхе, а для этого в беспрекословных муравьиных обязанностях» (20, 193). В «Преступлении и наказании» Раскольников, оказавшись в тупике собственной идеи, в объяснении с Соней протестует против «муравьиной» философии жизни: «Сломать, что надо, раз и навсегда, да и только: и страдание взять на себя! Что? Не понимаешь? После поймешь... Свободу и власть, а главное власть! Над всею дрожащею тварью и над всем муравейником!.. Вот цель! Помни это! Это мое тебе напутствие!» (6, 253; см. также: 7, 387).

Так, в «Бесах» не ошибающийся инстинкт муравьев оборачивается непрекословным повиновением рабского, тупого стада («одна десятая доля получает свободу личности и безграничное право над остальными девятью десятими» — механизм будущего тоталитарного общества из проекта Шигалева). В «Братьях Карамазовых», последнем романе Достоевского, возникает зловещий образ Великого инквизитора: «...всё, чего ищет человек на земле: (...) пред кем преклониться, кому вручить совесть и каким образом соединиться наконец всем в бесспорный общий и согласный муравейник (...) великая потребность человечества ко всемирному и всеобщему единению. (...) кому же владеть людьми как не тем, которые владеют их совестью и в чьих руках хлеба их. (...) О, мы убедим их, что они тогда только и станут свободными, когда откажутся от свободы своей для нас и нам покорятся» (14, 234—235).

Объясняя «муравьиную» метафору Достоевского, Вл. Соловьев пишет во «Второй речи»: «Мир не должен быть спасен насильно. Задача не в простом соединении всех частей человечества и всех дел человеческих в одно общее дело. Можно себе представить, что люди работают вместе над какой-нибудь великой задачей (...) но если эта задача им *навязана*, если она для них есть нечто роковое и неотступное, если они соединены слепым инстинктом или внешним принуждением, то хотя бы такое единство распространялось на все человечество, это не будет истинным всечеловечеством, а только огромным „муравейником“. Образчики таких муравейников были, мы знаем, в восточных деспотиях — в Китае, в Египте (...) коммунисты в Северной Америке. Против такого муравейника со всей силой восставал Достоевский, видя в нем прямую противоположность своему общественному идеалу. Его идеал требует не только

единения всех людей и всех дел человеческих, но главное — *человечного* их единения. Дело не в единстве, а в свободном *согласии* на единство. Дело не в великости и важности общей задачи, а в добровольном ее признании». <sup>15</sup> Ручательство того, что люди свободно придут к единению, Достоевский и Соловьев видели в вере в бесконечность души человеческой, данной христианством.

Следует заметить, что в первые послереволюционные годы идея коммунистического парадиза устойчиво и не случайно сопрягалась с рационально организованным человечеством по примеру «муравьиного братства» и в этом смысле активно пропагандировалась многими. К примеру, А. Форель, известный в 1920-е гг. психолог и энтомолог, писал: «Социализм муравейника несравнимо выше в отношении к устройству всех наших государств <...> поскольку дело касается единоклюнной общественной работы, единства действий и самопожертвования личности на благо общества»; необходимо изыскать «возможное решение человеческого социального вопроса» на основании «научных рассуждений»: «что же мы можем сделать, чтобы стать более похожими на муравьев, оставаясь в то же время людьми?». <sup>16</sup> В книге Р. Фюлоп-Миллера «Дух и лицо большевизма» (1926) русская революция глазами очевидца виделась как попытка смоделировать коллективного человека, действующего автоматически. <sup>17</sup> В эпоху нивелирующего нормативного большевистского коллективизма магистральная установка, естественно, была задана партией, позиционирующей себя как целокупный организм, составленный из бесчисленных адептов: «Пролетарий — ничто, — писал В. И. Ленин в статье «Шаг вперед, два шага назад», — пока он остается изолированным индивидуумом. <...> Он чувствует себя великим и сильным, когда он составляет часть великого и сильного организма. Этот организм для него — все, отдельный же индивидуум значит, по сравнению с ним, очень мало». <sup>18</sup> Или его же восторженная характеристика социализма как такого социального устройства, при котором все трудоспособные члены общества будут наемными рабочими у одного единственного хозяина — социалистического государства. Трудящийся абсолютно лишался выбора. В русле этих умонастроений высказывался и Платонов в ранней статье «Нормализованный работник» (1920): «Дело со-

<sup>15</sup> Соловьев В. С. Три речи в память Достоевского. 1881—1883 (Вторая речь) // О Достоевском : Творчество Достоевского в русской мысли 1881—1931 годов: Сб. статей. М., 1990. С. 44—45.

<sup>16</sup> Форель А. Человек и муравей : Очерк о наследственности и эволюции. М.; Л., 1924. С. 26—27.

<sup>17</sup> Fülöp-Miller R. Geist und Geschicht des Bolschevismus. Zürich, 1926.

<sup>18</sup> Ленин В. И. Избр. произведения: В 3 т. М., 1975. Т. 1. С. 337.

циальной коммунистической революции уничтожить личность и родить их смертью новое живое мощное существо — общество, коллектив, единый организм земной поверхности». <sup>19</sup>

Закономерно, что в творчестве Платонова присутствует образ «муравейника». Так, в рассказе «Среди животных и растений» («Жизнь в семействе», 1936), в котором ставится тема распада семьи, этот образ оказывается далеко не случайным: в лесу охотник Сергей Семенович Пучков «слышал тонкий, разноречивый гул жизни мошек, мелких птиц, червей, муравьев и шорох земли, которую мучило и шевелило это население, чтобы питаться и действовать. Лес походил на многолюдный город»; под ним «ползали усердные, обремененные хозяйственными тягестями муравьи, как маленькие добропорядочные люди: гнусная тварь с кулацким характером — всю жизнь они тащат добро в свое царство, эксплуатируют всех мелких и крупных одиноких животных, с какими только сладят, не знают всемирного интереса и живут ради своего жадного, сосредоточенного благополучия. Сейчас, например, муравьи растаскивали тело старого скончавшегося червя; мало того, что они тлю доят и молоко пьют, они и чужую говядину любят. Однажды охотнику пришлось видеть, как два муравья волокли от железной дороги железную стружку. Им и железо, оказывается, нужно. Они весь мир собирают себе по крошке, чтобы получилась одна куча». <sup>20</sup>

В статье «О ликвидации человечества» (1938) — рецензии на роман К. Чапека «Война с саламандрами» Платонов предлагает иной финал романа:

Итак, идет мировая война саламандр: история человечества продолжается «руками» животных. Саламандры (<...> близки если не к полному исчезновению, то к оцепенению, к обратному превращению в беспомощных животных со смутным разумом (<...>). Тогда на сцену истории появляются, допустим, деловитые муравьи (вот кому к лицу «цивилизация», если понимать ее по Чапеку), и эти муравьи поедают миллиарды саламандр (<...>) объедая их до скелетов и растаскивая кости их по частям в свои «кучи-государства». (<...>) Муравьи наследуют эпоху «саламандризма» и, через нее, человечества. Такой конец романа не противоречил бы духу романа Чапека. (<...>) Продолжим еще немного наш вариант окончания чужого произведения (<...>) муравьи стали тучными и поверглись в

---

<sup>19</sup> Платонов А. Цветок на земле: Повести, рассказы, сказки, статьи. М., 1983. С. 13.

<sup>20</sup> Платонов А. Среди животных и растений // Платонов А. Течение времени: Повести и рассказы. М., 1971. С. 369—370. По мнению И. Спиридоновой, этот муравьиный эпизод «отсылает к роману И. Гончарова „Обломов“, к картинам жизни в Обломовке. Война, которую Пучков объявил муравейнику, заставляет вспомнить роман Достоевского „Преступление и наказание“» (Спиридонова И. Тема семьи в рассказах Платонова 1930-х гг. // «Страна философов» Андрея Платонова: Проблемы творчества. М., 2003. Вып. 5. С. 286).

долгое дремотное состояние «блаженства» (...) их умертвили травяные вши — гли, — которые, как известно, служат для муравьев дойными ковами и отчасти рабами. (...) И далее автор попал бы в бесконечное коловращение обмена веществ в природе (...) роман бы не мог быть закончен.<sup>21</sup>

У Пришвина, пишет Платонов в рецензии на «Неодетую весну», «описывается наступление муравьев, из которого явствует лишь, что муравьи суть существа „тоталитарные“, усердные и бездушно-отважные, что известно, однако, уже давно».<sup>22</sup>

Но завершенную и объемную фабульно-сюжетную реализацию «муравьиная» философия Платонова получила в романе «Чевенгур» (1927—1928), весь текст которого скреплен зоологическим кодом. Коммунистический город, реализованный как возможная модель общественного развития, предстает в виде муравьиной «кучи-государства», восставшей словно из многочисленных зловещих предсказаний Достоевского, где оставшиеся коммунисты, обустроив наконец «идеальное» общество, начинают бессмысленно сталкивать сады и дома в центр Чевенгура, образуя словно муравьиную кучу: «...мы дома потесней перенесем, чтобы ближе жить друг к другу» (с. 293). Дома, настолько уменьшаются в размере, что заносятся зарослями бурьяна, который «сплошной гущей обложил весь Чевенгур тесной защитой» (с. 246); «будто ветер гнал сюда траву, чтобы завалить ею на зиму дома и создать в них укрытое тепло» (с. 335). Чевенгурцы питаются травой, в ней же по вечерам и засыпают (с. 287, 297, 310). Гопнер «видел — город сметен субботниками в одну кучу, но жизнь в нем находится в разложении на мелочи, и каждая мелочь не знает, с чем ей сцепиться, чтобы удержаться» (с. 329). В отличие от трудолюбивых муравьев социалистических утопий в патологической плоскости романа чевенгурцы не работают, считая, что труд — это проклятое наследие буржуазии. Платонов «сдвигает» идею Достоевского («далеко еще человеку до муравейника!») в сторону недостижимости для человека трудовых инстинктов муравьев («далеко человеку до умельца-муравья»). «Доблестный» труд в «Котловане» (1929—1930) направлен на бессмысленное углубление фундамента дворца будущего во имя бесчеловечной идеи и лишь уподоблен трудовому инстинкту муравьев, оказавшись

---

<sup>21</sup> Платонов А. О «ликвидации человечества»: (По поводу романа К. Чапека «Война с саламандрами») (1938) // Платонов А. Собр. соч.: В 3 т. Т. 2. С. 477—478. Подробнее о рецензии см.: Евдокимов А. Опыт интерпретации мира антиутопии Андрея Платонова в статье «О „ликвидации человечества“» // Начало: Сб. работ молодых ученых. М., 1998. Вып. 4. С. 160—183.

<sup>22</sup> Платонов А. «Неодетая весна» // Платонов А. Собр. соч.: В 3 т. Т. 2. С. 402.

созиданием социалистического муравейника в духе представленной Достоевского.

Словно муравьиной маткой становится в организованном муравьином братстве Клобздюша, которая «хранилась в особом доме, как сырье общей радости» (с. 253), и Чепурный уважал ее «за товарищеское утешение всех одиноких коммунистов» (с. 246); вместо красной «невесты» Розы (читай: идея революции; напомним «Что делать?» заканчивается стихотворением Т. Гуда «Стансы»: «Запах тленья все слабей, / Запах розы все слышней». Чернышевский вкладывал в эти строки революционный смысл), упорно, но тщетно взыскуемой идеальным рыцарем Мировой Революции Копенкиным, в бредовой чевенгурской действительности возобладала сластолюбивая и жадная Клобздюша, которая, как «похочет» вместе с Прошкой, так коммунизму и быть в Чевенгуре. «Отпускать» же коммунизм массам Прошка будет «частичными порциями» «по мере классово-надобности» (с. 325). Иными словами, произошла подмена идеала. «Горе человека вел(икого) врем(ени) в том, что пролетариат завоевал власть (частично, смешанно, но едко, отравлено) для оригинальной, удивитель(ельной) формации буржуазно-аппаратной демократии. Он увидел в революции чистый свет мира, превращенный в бред. И человек — в бреду».<sup>23</sup>

Платонов экспериментирует с высокой идеей Достоевского о христианском братстве как залоге будущего гармонического социального устройства, снижая ее пафос до карикатуры. «Не в коммунизме, — пишет Достоевский, — не в механических формах заключается социализм народа русского: он верит, что спасется лишь в конце концов *всесветным единением во имя Христово*. Вот наш русский социализм!» (27, 19). Жутковатым образом платоновский герой является патологическим аналогом своего образца: «Достоевский (Игнатий Мошонков. — С. И.) думал о социализме как об обществе хороших людей. Вещей и сооружений он не знал» (с. 130); он вообразил «социализм» «окончательно»: «...ветер коллективно чуть ворошит сытые озера угодий, жизнь настолько счастлива, что — бесшумна. Осталось установить только советский смысл жизни. Для этого дела единогласно избран Достоевский» (с. 131); он думал, «что такое душа — жалобное сердце или ум в голове» (с. 134). Чевенгурцы, погруженные в бурьян, начинают испытывать единственное чувство — «бесцельную привязанность один к другому» (с. 277); их «основной профессией» становится «душа», а «продукт ее — дружба и товарищество!» (с. 221); вместо имущества чевенгурцы «могли приобретать лишь одних друзей» (с. 312). Чепурный надеялся, что пролетариат «разбе-

<sup>23</sup> Платонов А. Деревянное растение: Из записных книжек. М., 1990. С. 18.

рет дома на части и будет жить без прикрытия, согревая друг друга своим теплом» (с. 296); «пролетарии и прочие служили друг для друга единственным имуществом и достоянием жизни, вот почему они так бережно глядели один на другого, плохо замечая Чевенгур и тщательно охраняя товарищей от мух» (с. 280). Однако обещанная Достоевским гармония как результат братской любви воплощаться в Чевенгуре не желает.

Присутствие в творческом сознании Платонова конца 1920-х гг. художественного кода, отсылающего в полемическом регистре к роману Чернышевского «Что делать?» (в 1928 г. широко отмечался столетний юбилей Чернышевского), подтверждает и образ города в рассказе «Лунная бомба» (1926): «Город не имел никакой связи с природой: это был бетонно-металлический оазис, замкнутый в себе, совершенно изолированный и одинокий в пучине мира»;<sup>24</sup> и образ строящегося в Москве «вечного» здания «из железа, бетона, стали и светлого стекла» в «вредном», по мнению Сталина, рассказе «Усомнившийся Макар» (1929), где Макар видит во сне мертвого «умнейшего человека» с «толстым, громадным телом», величественно стоящего «на горе, или возвышенности»; «миллионы живых жизней отражались в его мертвых очах», а лицо «было освещено заревом дальней массовой жизни», в то время как «один отдельный человек» лежит рядом «и мучается без помощи». <sup>25</sup> Есть упоминание о «бетонно-металлическом» социализме и в стихотворении Платонова «Вождю оппозиции» (1928): «А где ж металл и механизмы, / Где прочность революции — бетон? / Какие тут в траве социализмы?! / По зипуну не скроишь мировой фасон». <sup>26</sup>

Для Платонова в «Чевенгуре» важно не только противостояние позиций Чернышевского и Достоевского как двух пророков, предрекавших будущую революцию по двум диаметрально противоположным направлениям, но и конфликт между их абстракциями идеального общества и живым человеком социалистической реальности конца 1920-х гг. Сопоставляя такое соседство различных мировоззренческих установок, Платонов деконструирует высокие образцы, травестируя их. Роман «Чевенгур» экспериментирует с идеями, сюжетно, эмпирически испытывает гипотезы и Чернышевского, и Достоевского. Развернутая метафора «муравейника» выполняет в романе сюжетобразующую функцию и аккумулирует в себе те семантические составляющие, которыми характеризуются социальные проекции Достоевского и Чернышевского. Таким образом, становится

<sup>24</sup> Платонов А. Лунная бомба // Платонов А. Избранные произведения. Рассказы. Повести. М., 1983. С. 19.

<sup>25</sup> Платонов А. Государственный житель. Проза. Ранние сочинения. Письма. Минск, 1990. С. 110, 115—116.

<sup>26</sup> Октябрь. 1999. № 2. С. 142.

возможной реконструкция генетического пространства платоновского «муравьиного» концепта, в пределах которого вектор этого построения в «Чевенгуре» направлен на одновременное соприсутствие и отталкивание от полярных установок Достоевского, с его гуманистической утопией в виде христианского братства людей, и Чернышевского, с его идеей «Хрустального дворца» — искусственно возведенного здания абсолютно нивелированной судьбы человеческой, всенародного множества, стандартизирующего личность, и идеалом унификации, наподобие «муравейника» из четвертого сна Веры Павловны. Платонов повествовательно-эмпирически выявляет несостоятельность их социальных прогнозов для конкретной советской действительности конца 1920-х гг. «Чевенгур» — это разговор об идеях и путях превращения теории в практику, идеи в реальность, о теориях, не воплотившихся в действительность, и о несбывшихся пророчествах.<sup>27</sup> Трагический конец коммуны оказывается следствием механической реализации идеи коммунизма. Патологическая реальность коммунистического Чевенгура объективируется, согласно тому, «что было выдуманно ⟨...⟩ умнейшими людьми» в «чужом записанном смысле», «осталось лишь плавно исполнять свою жизнь по чужому записанному смыслу» (с. 293, 274). Для чевенгурских коммунистов «все слова» из Маркса, проверенные жизнью, обернулись «бредом одного человека, а не массовым делом» (с. 250). Это хорошо почувствовал Г. З. Литвин-Молотов, прочитавший «Чевенгур» в рукописи: «Впечатление такое, — писал он Платонову в конце 1927 г., — что будто автор задался целью в художественных образах и картинах показать несостоятельность идеи возможности построения социализма в одной стране».<sup>28</sup>

Позже, в статье «Пушкин и Горький» (1938), Платонов писал:

Пушкин бы нас, рядовой народ, не оставил. Но вот его многие последователи и ученики иногда оставляли нас одних искать выход из исторической беды, словно народ — по мнению Инквизитора из легенды

<sup>27</sup> Позже в очерке «Кухонный мужик Советского Союза» (1931, опубликован в 1997 г.) Платонов, критически относившийся к социальной prognostике Достоевского в отношении исторической роли русского мужика, снижает идею Достоевского о «предызбранном назначении русского народа в судьбах всего человечества» (21, 59), полагая, что предсказания великого учителя и пророка не выдержали проверку временем и историческая миссия русского мужика не оправдалась в условиях победившего социализма. Подробнее об этом см.: *Ипатов С. А.* «Кухонный мужик Советского Союза»: (К истолкованию заглавия очерка) // Творчество Андрея Платонова: Исследования и материалы. СПб., 2004. Кн. 3. С. 186—193.

<sup>28</sup> *Литвин-Молотов Г. З.* ⟨Письмо А. П. Платонову⟩ // Андрей Платонов. Воспоминания современников: Материалы к биографии. М., 1994. С. 219.

Достоевского — нуждается, как животное, лишь в покое и хлебе насущном; точно одним этим хлебным клейстером элементарной нужды можно склеить всемирное счастье.<sup>29</sup>

Не случайно в своих записных книжках 1928—1930 гг. Платонов вполне в духе Достоевского пишет: «Человек не перестает жить потому, что у него нет пищи, одежды, жилища. Дайте ему! — он перестанет».<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> Платонов А. Пушкин и Горький (1937) // Платонов А. Собр. соч.: В 3 т. Т. 2. С. 311.

<sup>30</sup> Платонов А. Деревянное растение: Из записных книжек. С. 16.